

18+
R.I.

XIBIL. ЯВ.VII:I

К.Г.

XIVIL. ЯВ.VII:I

«Издательские решения»

К.Г.

XIВІL. ЯВ.VII:I / К.Г. — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-641445-7

Дни человека — как трава; как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. А что любовь? То вечное дыханье!

ISBN 978-5-00-641445-7

© К.Г.

© Издательские решения

Содержание

ХІВІЛ. ЯВ. VII: I	6
Конец ознакомительного фрагмента.	18

XIBIL. ЯВ.VII:I

К.Г.

Иллюстратор А.Г.

© К.Г., 2024

© А.Г., иллюстрации, 2024

ISBN 978-5-0064-1445-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ХІВІЛ. ЯВ. VII: I

В начале была тьма, и тьма творилась из ничего, и тьма была ничем. Бог поднял веки мира и отверз небо, как глаза, – и стал свет: словно библейская голубка, он вновь вернулся под крышу ковчега. Небо прикладывалось к груди земной, и материнский покой давал испивать свои соки; его очи, склеенные негой сумерек, постепенно открывались. И вот, отделил Бог свет от тьмы, и поставил завет Свой через жертву рассечения. И сказал Он: Я Господь, Бог твой, небо и земля полны Мною, здесь ты будешь жить вечно; и увидел тогда, что они хороши весьма. Так сказал Господь – и стало так, так повелел – и создалося. Тишина свято лучилась на истертых страницах Книги жизни, и пели слова ее – ведь они были живые, и слова были – Человек; и обратил Бог лицо Свое на душу человеческую – и вот, она прекрасна. Так сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; так совершенно было дело Господа, и стало так.

Темная ночь переходила в ночь беспросветную. И видел человек свет, что он хорош; и звали его Авраам, он шел под рукою высокою. В зените земного бытия стоял он в сумрачных одеждах лесных деревьев, под плотным кобальтовым одеялом ночи, где звезды ткали вечность, роняли дыхание темное свое. Здесь он адом жизнь свою делал, чем рая заслужил; здесь он тихо молился: так птица, которая долгое время сидит в клетке, вдруг резко вырывается – и вот ее уже нет... Он искренне молился в лесу, и веселил молитвой кровь свою, и все деревья пред ним до земли преклонялись. Он молвил так: о воскресенье, день самоубийц! Это был день один.

Шел год 1956 по Р. Х. и 7464 год от сотворения мира. Человечество было охвачено безумием, мир был объят огнем. Было близко время, и гнев наступал – самый свет делался хаосом, а солнце – разрушением; человек должен был сгинуть – время было близко; неизменны были лишь звезды, стояли на тверди небесной, – и были по-над лесом они, неизменны над лесом. Тогда осквернилась земля, и Бог воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней, ибо все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время; и пришел конец всякой плоти. Мертвые ходили в лес, чтобы вновь принять облик живых, – затем мертвые ходили сюда; и мертвые были живыми, ибо Бог вечен. Здесь росли фантастические деревья, бросающие тень на своих мертвецов: когда ветви ломались, то становились черточками между двумя датами. Они были одеты свободой умирания, и все их вещи были мертвы; так [смертью] они успокаивались в плывущей тишине элизийских ветров: ни язык не произносил чего-либо человеческого, ни глаза не были заняты рассматриванием доброцветности и соразмерности в телах, ни слух не расслаблял душевного напряжения. Странствующие по течениям своей души и жизнью в себе владеющие, они следовали к великому молчанию, которое собирает едино, к земле обетованной, пав в которую, непременно умрут, чтобы принести много плода; где всяк обрящет некончающееся успокоение в будущей Вечной жизни.

Умиравшая звезда проглотила себя и вся провалилась в никуда, и собралась тьма в одно место, и явилась бездна. И сотворил Бог дом на краю бездны, черной многости умираний, и непроглядная тьма объяла его; и собрал в нем последних из ныне живущих. И поставил Он на противном краю пропасти врата смерти, и зажег Он в том месте светила великие – для управления ночью. Жители сих мрачных жилищ слагали свои поэмы о светиле перед заколоченными окнами душных комнатушек; на лицах их был ожог мрака, и они были сама ночь. Дом таился в странном замирании сновидений; Авраам занимал комнату в мансарде, и тоже спал: в беспредельности Вселенной, в яслях далекой галактики, в туманности Х19—56, в космогоническом ужасе среди частиц темной материи, в микроскопической вспышке в исполинском пространстве, в густо-темном лесе, в непрозрачности, на последнем постоялом дворе пространства-времени, за дверью в конце длинного коридора, в глубоком мраке простыней кошмар настигал его: сквозь липкий сновиденческий бред, подчас где-то глубоко внутри себя,

слышал он шорох, в котором соприисутствовало демоническое начало. А звезды наводили свет, и глаза усопших притворялись ими.

Авраам открывал глаза от странного чувства: худые, с отеками веками, воспаленные от какой-то душевной болезни, они были обращены к окну; и сон его убегал от глаз его; он открывал глаза, чтобы впустить в них свет, дабы тьма не объяла его. Тут деревянные предметы, гнилые мебели и разовсяко гниющий человек, свечи в глиняных кувшинах, старинные книги, образа, иконы – и все молчат; сползшее со стены окно кроваво и черно, в него ложится персть лесная, тихие пробуждения ее, приглушенные шумом умирающих листьев: те лежат, как сброшенные платья. Так молчал лес; жители его были оставлены в земле, возвращены туда, откуда и были взяты. Ветхозаветные исполины, деревья-жрецы, жуткий сюрреализм которых сдирал с ночи тьму ее, совершали древние обряды в уродливой карикатуре небес. Обычно небо убывает, но не было ветра в небесах, и небо стояло странно, и ночь застыла навечно. И был в лесу страх, боль, пустота, – и в нем был страх. Душа Авраама была высока от многих скорбей, черты лица его были безумны от боли; лицо страдальца: большие карие глаза... эти глаза, глубоко серьезные и грустные, владели всем лицом, литографическим оттиском было вкраплено в них глубокое душевное потрясение. Этот человек был воистину ищущим, пилигримом, странствующим к счастью своему дорогой любви; он поступал по духу, а не по плоти, он был как будто с другой планеты – какой планеты?.. он еще не потерял искры жизни, против мира не озлобился, и его страдающее сердце было по-прежнему исполнено веселья, какой-то нерушимой детской радости: оно и смеялось, и плакало... оно было готово к принятию добра. Жил он как опрощенец, как бы вне цивилизации, в коконе суетных дум: одиноких людей в мире так много, что не так уж они одиноки; размышлял, ломался мыслями до одури: что я такое, Господи? И Бог говорил ему: изыди от земли твоей и от рода твоего, и иди в землю, которую укажу тебе, – так говорил Господь. И покорно следовал Авраам, покидал свой край, как сказал ему Бог; он шел в сторону, которую ему указывали, его странствование было хождение верой, в ожидании будущего града, которого зодчий есть Бог, искание отечества небесного. Зачатие света вызывало его сияющие глаза, и те роняли тихие алмазы; он лежал, сирота, молчал... – у счастья тихий взгляд; слова, потерянные его устами, впитывались какой-то глубокой мыслью; как-то замороженно всматривался он в тонкие переливы смыслов эмиссионной туманности, ждал призыва сквозь слезы; он ощущал себя как одно осторожное, ощупывающее воспоминание о том расслабленном покое, которым он был с начала времен; першили звезды в небе, было ровно, понятно и далеко, нигде и ничто, тихо, очень тихо, прямо, и никто, долго-долго, бесконечно, и глубоко, безмерно, и Вселенная – бездонна – была велика и вечна, и душа – бездонна – была велика и вечна; о чем задумался ты, человек?..

Ногами Авраам уже не касался земли, но душа его еще не достигала неба; были лишь два пути: или вечно спастись, или вечно погибнуть. Он пребывал где-то в порубежье, на рости между земным житием и небесным, и невыразимое страдание воплощалось в его лице. Были суровые норд-осты, стегая его наготу. Голос его гремел драматическим тенором, сотрясая чащи лесные: жизнь даже очень коротка, порой ты сам и не заметишь, как смерть безвыходно близка, а перст судьбы ты не изменишь; пробил и мой последний час, хотя я молод – мне не жалко жизни, взгляну на солнце только раз поверх осенних желтых листьев; а жизнь моя была полна дыханья солнечного света, в осенний полдень рождена, ушла, презрев все лета. Ворон, устроившийся на дереве, склонил головку набок и слегка поморщился. Он созерцал служителя муз в глубокой задумчивости и словно гадал: что дальше? Несколько злоупотребляя лингвистическими талантами, Авраам уже открыто провоцировал птицу на конфликт. Она невольно вздрогнула, когда до ее ушей донеслись неприятные звуковые вибрации. На сей раз, используя сложную горловую технику, Авраам затянул заунывный мотив, похожий на вопль брошенной цыганки. Ворон рассеялся, в рассрочку погашая смерть.

Внезапно за дверью раздался продолжительный треск каких-то щепок: он сопровождался громкими проклятиями и провозглашениями имен насельников преисподней. Было похоже, что папа Карло повздорил с лесорубами. Затем послышались возгласы невыразимого удивления, как будто человек впервые увидел дверь. Дивный тембр собственного голоса улаждал Авраама не меньше, чем концерт Паваротти в театре «Ла Скала», пока чей-то обвинительный возглас не оповестил о том, что рядом кто-то есть. Авраам резко крутанулся на пятках и пронзил критика неистовым взглядом: в воздухе над его головой повис немой знак вопроса. Перед ним материализовалась развороченная морда, принадлежавшая, по всей вероятности, обладателю тонкого музыкального слуха. Умеряя легкие судороги, коснувшиеся его уст, Авраам вытягивал физиономию и никак не мог найти ей применение. Личность, замершая у порога в той щекотливой позиции, когда ты вроде бы и внутри, но пока еще не полностью, имела вид бедолаги, сокрушенного созерцанием собственного рукава, попавшего под шпindel фрезерного станка, – то есть до некоторой степени озабоченный и отнюдь не веселый. Прибывший незнакомец пересек пространство если не тяжелой поступью, то точно в подавленном настроении. Было бы нелепостью сказать, что в тот миг он держал в руках жар-птицу, а та, в свою очередь, распевала на все лады. Нет, скорее, он походил на типичного диккенсовского героя, нахватавшегося лещей от Провидения. Казалось, еще вчера он был невинным ребенком, роняющим слезы умиления на цветки Жизни, а теперь, пораженный вирусом печали, закладывал вираж к объятиям отца. Сделав еще один шаг, он означил тесное приветствие одной своей ноги со второй и удивил Авраама несколькими па регтайма. Авраам побежал к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали [оба].

Улисс, плоть от плоти его и, вероятно, кость от костей тоже, был крайне восприимчив к всяческим движениям человеческой души. Любви отца к сомнительного рода куплетам он не разделял, тем не менее активно субсидировал того комплиментами, постепенно истощая не столько запас любезных слов, сколько терпение. Некогда стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. В моменты трезвости ума и чистоты рассудка сходил он на торжище жизни, обладая всеми добродетелями, присущими благочестивому христианину. Как всякий таковой, он удовлетворялся воскурением фимиама, покуда не начинал замечать в жизни признаки повреждения, препираясь с ней вопреки ее недвусмысленным указаниям. Тогда, сообразно некому исконному влечению, церковные благовония, обретшие жертвенник в ноздрях его, смешивались с букетом сложных эфиров, а Улисс преображался в речистого проповедника и становился невероятен. Через воздействие ядов оплакивал Улисс свою мать Анну, утвердившуюся в земле как постоянный житель; плакал о смерти ее, растерзывая ризы и облекаясь во вретнице. Некогда согрелась Анна, рождая тепло, приобрела человека от Господа, совечного своему Отцу, и назвала его Улиссом; в нем было дыхание жизни, и стал тот человек душою живою. Велики были чувства, которые приходили к родителям, когда они держали на руках свое дитя; его беспомощность затрагивала в их сердцах благородные струны, а невинность его была очищающей силой. Так благословил Бог Анну, и дал Аврааму от нее сына, сказав: дитя человеческое – произведение самого Бога; никогда не замолчишь, ибо будешь говорить детьми своими. Так душа нашла дом – и в окошках этого дома загорелся свет. Только когда Улисс полностью сформировался и духовно возрос, так, что мог самостоятельно идти по жизни, Анна покинула этот мир и ушла из земли: ее миссия была выполнена. Муж и сын имели много слез по утрате горячо любимой жены и матери, рыдая плачем великим, и отверзся источник их горя. И настала боль, которая никогда не убудет, и все померкло для них, кроме солнца Христова: они жили верою в небесное отечество, ожидая часа, строитель и художник которого Бог. Такова была Анна, жена и мать. Она опекала их, и благодаря ее попечению, проснувшись утром, они находили в мире все таким же, как оставили вечером. Не имея силы проститься, отец и сын кочевали по известным пределам *limbus patrum*, натаптывая грязные следы на пороге бессмертия. Они отделились смелым чая-

ниям, все более властно звавшим их в неизведанные дали, и, пустившись в странствия, повидали немало чужих краев.

Пропорхав по комнате в исключительно старушечьей манере, что-то старательно перекладывая с места на место и переругиваясь сам с собой, Улисс наконец предпочел одному стулу стул другой. После давешней сцены с его уст сфыркивались наветы, за патетичным бульканьем которых Аврааму не довелось услышать от сына, что представляет собой его отец. Блаженно икнув, Улисс задумчиво окинул горизонты. Его мемуарное лицо, покрытое печальным флером меланхолии, задерживало тревожный взгляд на окне, откуда, вероятно, черпало все свои откровения. Улисс слушал лес, стараясь подставлять под звуки голову, которую он по чистой случайности имел. «Окно нужно держать запертым изнутри, – отчеканил он, пикируя на стул. – Всякая лесная бактерия лиха на подъем и учтивостью не славится, она только и ждет удобного случая, чтобы залезть к нам в глотку и закатить там вечеринку». – «Правда твоя, крайне неприветливый и мрачный контингент, орды сущностей коварных». – «Для чего окна хороши, – продолжал Улисс, – так это для прыжков». – «Прыгай на досуге suo periculo; а пока продолжай открывать рот – нам нужно поговорить». Озаренный нетяжелым нимбом дремлющего лентяя, Улисс ошибочно полагал, что такая безмятежность может быть вечной. У него были все основания думать, что в интонациях отца звучит преамбула к неприятному разговору. Его глаза уподобились очам младенца, после того как тот обзрел жизнь и обнаружил, что она полна разочарований. Подняв брови до критической отметки и сделав глубоко внутри себя тройной сальто-мортале, Улисс поучительно проговорил: «Ты, я гляжу, очень деловой, но подтяни штаны». Авраам, которого посетило внезапное умиление, ласково потрепал сына за волосы. Потом еще раз. И еще. Тот же, возвращая скальп по назначению, выдвинул ноту протеста, ведь клочок волос, с которым его разлучали, был ему особенно дорог. Его невосприимчивость к сантиментам оставляла на сердце отца неизгладимые следы, и, осердившись весьма, Авраам послал сына к дьяволу, требуя, чтобы тот немедленно отправился на его поиски. Тогда отдался сын от отца, который злословил его, и убрел в дремучий древостой, осваивая его под бытовую надобность судного дня; он уходил с некими твердыми намерениями, способствуя тому, чтобы те сохраняли должное разнообразие звуков; там он хулил терние и волчцы и пинал мхи, и немного остудил чувства видом зелени.

Отдаваясь силе размышлений не слишком озабоченного человека, Авраам побродил по комнате, критично обозревая наружный пейзаж, и размял тело с помощью нехитрых гимнастических упражнений. Затем он какое-то время беззаботно нежил свою плоть на мягких простынях, валяясь на них, как ворох старых тряпок. И вот, когда он завершал трогательную арию Лауретты из оперы «Джанни Скикки», на полпути от «я бы предпочла умереть» к «сжался, отец!», богатые модуляции его голоса воззвали к недружелюбию посторонних лиц. Улисс, вернувшийся в родные пенаты израненным и почти обескровленным какой-то дикой колючкой, обнаруживал себя бездыханно лежащим на кровати, подобно юной деве Ифигении на жертвенном алтаре. Симулируя лихорадку и подкувыркиваясь в простынях, он корчился в предсмертной истоме и музыкально стонал, в сильно драматических местах нажимая на басовую ноту, как будто находился при исполнении каких-то обязанностей. Авраам взирал из своей юдоли мрака и отчаяния, как душа сына сбрасывает оковы бытия. Он с предубеждением относился к покойникам в доме, и многие из нас его поддержат. В детстве его страшали привидениями-плакальщицами, которые еженощно возвращаются в мир живых, дабы разнузданно вопить и предаваться праздности и ментальным забавам. Озадаченный мыслью о непрошенных гостях с того света, Авраам сжимал в руке потрепанную макулатуру с какими-то суммами. Своим укоряющим видом эти подлые цифры имели претензию к Улиссу и кидали ему безмолвные упреки. Последний, отдавая душу Богу, одарил жалкую арифметику мученическим взглядом, как бы обвиняя в том, что ему не дают безотрадно кончаться, и затем накачал воздуха в легкие, готовясь проверить здание на прочность. «Архангел Гавриил, это ты?! – пом-

пезно окликнул он отца и следом исторг вопль, достигший адского крещендо: – Святая мученица Мария Персидская! – взревел Улисс, начиная землетрясение на Камчатке. – Где же святая вода?!» – «Сын, у меня к тебе важный разговор», – сказал Авраам, ровно отпиливая каждое слово. – «Не называй меня сыном, пред тем как собираешься предать». – «Немедленно сядь». – «Но я и так сижу». – «Не дерзи мне!»

Плохой знак, подумал Улисс, так как выговоры не любил. В сердце неприятно закололо, как у царя Леонида перед Фермопильским сражением, когда тот посылал спартанских мужей на верную смерть. Робко потупив взгляд, Авраам готовил трагический памфлет. Неустанно тренируясь на сыне, он поднаторел в сфере риторики, и в такие мгновения сначала совершал партизанскую вылазку, шепча слова голосом кроткой, меланхоличной монахини, истязаемой морально внутренним грехом, прежде чем нападал по-настоящему. «Мальчик мой, – произнес он на полутонах, – это дни жизни твоей. Цифры не играют. Кажется, ты достаточно ходил на моих помочах». – «Дня еще много, отец». – «Сколько дней жизни твоей?» – «Дней странствования моего лишь краткий миг, столь малы и несчастны эти дни и не достигли до лет жизни отца моего во днях странствования его; я вечное дитя, а наши внутренние дети – путь ко спасению». – «Спасайся, коли тебе приспичило, но не на погибель же другим. Некий трубадур, не испросив благословения, вознамерился поэтизировать нашу Анну из существа низшего порядка в идеал; пока мы спали, он похитил ее у нас в какой-то средневековый уголок, дабы следовать кодексу куртуазной любви». – «А чем он плох? Там как в сказке. Контора на пять звезд». – «Ты что, пьяный?» – «Любопытное дедуктивное умозаключение – но это нервы. Пойми, зиждитель бед моих, даже сухарю, вроде меня, не чужды требования ласки; как хочется проснуться, обоняя приятное благоухание, окутанным обетами всеясных утр: пора, красавица, проснись: открой сомкнутой негой взоры... ну, с-собака, держись!.. – Улисс отпустил поэтические вожжи и какое-то время декламировал классику. – Вместо этого я слышу, как ты воешь стансы ко Христу. Я могу не пить, но для этого нужен повод». – «От тебя несет перегаром». – «Это феромоны гения человеческого», – сказал Улисс, радостно растопырив глаза. Авраам заметался, подыскивая эвфемизм слову «кретин». Непокойное его озабоченное лицо еще озаботилось. «Тебе рече сердце мое: вместе мы спасем Анну, чтобы сорадоваться истине, – прогремел Авраам, внезапно оклеопатриваясь, – ведь что потеряно, должно найти». – «Ах, матушка моя, отчего ты так неуклюже занималась любовью!»

Как мог догадаться прозорливый читатель, торопливый на обобщения, оба странника, столь ревностно блюдущие традиции семейных презрений, хоть внутренне и наделяли друг друга регалиями тварей, уродство которых не потерялось бы даже за иносказательностью рифмы, они, тем не менее, были отлучены от тел своих и весьма примечательно мертвы, о чем догадывались по некоторым отдаленным признакам; и все-таки они продолжали жить, как будто некое существование предназначало для них значительные дороги судьбы. Итак, Авраам и сын его Улисс пребывали в счастливом неведении относительно своей кончины, посему брали на себя ответственность жить именно с того места, на котором остановились, а значит, пора продолжать и нам. «Оставь меня одного, будем писать друг другу письма. Я не уроню имени твоего, а стяжаю ему славу, поокочачиваясь тут в твое отсутствие». – «Немедленно прекрати околачиваться!» – «Прозри, отец, разлука направила корабль свой в море наших слез. Последний взгляд, и мы разучены навеки. Господь наделил меня пороками, не освободив от мзды: он дал мне тебя, который превратил свое чадо в анахорета поневоле. Ведь я чудесный человек, ибо пью, не зная меры, и чудесен я лишь в миг, когда забвение с пороком заключают гнусное пари». – «Ты не тот, кого я вижу – ты есть тот, кого люблю. Нет, это не сын мой говорит – так кто же ты, проклятый зверь?»

Улисс распахнул рот и фракция вопросительно-восклицательных знаков вышибла оттуда последнюю букву алфавита. Делая виртуозный толчок спиной, он стремительно катапультировался с кровати: он вылетел из лона подушек и одеял, моментально обрастая слоями одежды.

Авраам добродушно ухмыльнулся, оценив сложность акробатического элемента и какое-то время не без интереса следил за всеми стадиями его туалета. «Бацилла малярии хочет тебя заразить!» – И вострепетал Улисс весьма великим трепетом, энергично ныряя в штаны. Он стремительно хватал себя за волосы. Он был смертельно огорчен. После такого огорчения не хочется жить. «Без боя не сдамся, я брошусь в Лету!» – воскликнул он, завибрировав, как отравленная крыса во время последней судороги. Глаза его при этом были невероятно выразительны: в правом – отчаяние, в левом – безнадежность. – Ты уважаешь мифологию? Пока не поздно, вспомни Аргуса, верного пса Одиссея. Когда его хозяин вернулся на родину после долгих лет скитаний, лишь старый пес признал в нем царя Итаки; и без лишних предисловий отбросил материальную оболочку. Стал бы он жаловаться на разлуку и строчить депеши циклопу?» – «Этюд не лишен очарования, но тут тебе не там. Ты спишь, но должен пробудиться, умер – так призван жить». – «Я пытался, но мир меня отверг. – Улисс мрачно улыбнулся и, протянув отцу рукопись, покрытую каракулями, тихо, но многозначительно сказал: – Читай! Се жизнь моя». На стол, за которым простиралось огромное лицо Авраама, легли исповедальные эпистолы, красноречиво истерзанные грифелем, как будто их автор, не удовлетворившись собственным красноречием, решил отыгаться на бумаге, накидав на нее своих стрептококков. Авраам изучал карандашные письма и трагично потирал скрижали плоти; он многозначительно просматривал их и, подобно Цицерону, прознавшему о заговоре Каталины, нервно кусал ногти. Читал он следующее: этот родил того, тот родил этого, та была бесплодна, но тот, другой, пошел куда-то и наразмножился там мама не горюй, чем оставил замену себе, наследника своих достоинств. Далее пространный сказ о генеалогическом древе обрастал все более невероятными подробностями, читать которые отец был уже не в силах. «Это что за хреновина!» – Вспышка гамма-всплеска, лизнувшая полумрак комнаты, зафиксировала на лице Авраама оттенок осуждения. «Алфавит подходил к концу, но слова все не складывались, – тем временем оправдывался Улисс, разложив себя в кресле напротив и блаженно смежая веки. – Сие есть prologus, сиречь предисловие к этой книге. История не завершена, но, поверь, за нее будут бить друг другу морды».

Эта краткая история, в которой Улисс блистал в изложениях, была вместо души его: он наполнял звуками множество букв и, подстрекая на бунт, бросил тех в погоню за вдохновением. Однако, познав дух великих прерий, музы взалкали приключений и, пока это одаренное способностью говорить строение ветшало не по сроку, и в ближайшие годы, окончательно подточенное проказой грехов, рисковало быть разрушенным рукою строителя, оставили его отживать свой век бесславно. Тогда кто-то сказал: да будешь ты алкашом для отделения нормальных людей от тебе подобных, и будешь служить регулятором нормальности. И стало так. Улисс уродился идиотом и весьма приумножил свое прирожденное свойство. Из школы его исключили за модернизацию езды по перилам винтовой лестницы, и обломки его были вынесены на «место нечистое». Какое-то время он live in gde ropalo и торговал слепыми гусями в особо крупном размере; но вскоре, изволив сменить декорации, затеял практиковаться в искусстве эпикуреизма на краю одного болота, и эти упражнения возымели над ним власть. На пантеоне идиотов он занимал внушительное место, и лицо человечества теряло в своей неотразимости лишь из-за этого прыща на своей переносице. Тем не менее, кроме заслуг и вождедений, типичных для достославного пьяницы, Улисса отличал особый дар летописания и опыты того же порядка. Однажды Авраам, ответственно исполняющий роль благодетеля, пригвоздил молодого повесу к редакторскому креслу дрянной газетенки, будучи подспудно средоточием всех ее монетарных надежд; таким манером рассчитывал он отринуть от груди своей бестию и хоть как-то умерить валютные аппетиты ее, дабы избежать неудобств, связанных с самопроизвольным падением в свете. Единственным занятием, в котором Улисс преуспел, было кассирование хрустящих купюр из чужого кармана в собственный. Причем в этой области он проявлял недюжинные способности. До поры до времени Улисс был неприлично расто-

чительным, опустошая семейную казну и спуская ее на грешные забавы материального мира, но однажды щедрый меценат подвел бухгалтерские итоги, и некоторые цифры его сильно огорчили. Авраам топнул ногой, и глубокая трещина разделила жизнь Улисса на до и после. Провидение покинуло его, как глупца, не способного воспользоваться его благодеяниями. Так на безоблачное существование кутилы и бездельника налетел циклон, о значении которого писал классик: какие-то отливы, приливы – одним словом, что-то там о природе. Начав трудовую деятельность в еженедельной периодике, Улисс довольно скоро открыл в себе гений сочинительского таланта. Поначалу его покровитель был с ним не особо строг, понимая, что сыну требуется место для самовыражения. Он выделил ему колонку анекдотов, предполагая, что та послужит неплохим стартом для его скрытых способностей. Возможно, и послужила бы, будь у него эти скрытые способности. Улисс не стал терять время понапрасну: когда он удобно угнезжился в редакторском кресле, неведомые силы произвели щекотание его ягодич, и он сорвался с места, полный огня и боевого задора. Он тщился добиться наилучшего, но ему не доставало различения, ввиду чего он бывал обманут. Чтобы придать пикантности материалу, он уснащал свои опусы многими добавлениями, и чем дальше, тем больше пренебрегал всякой мерой, потребной во лжи; он любил огонек – но устраивал пожар. Это ранило нежные покровы читательских сердец: возмущенная интеллигенция, обнаружив своих тезок, гарцующих по водевилям в амплу феерических идиотов и выкидывающих фортели под статью, быстро пришла к единогласному решению назначить Улисса уполномоченным боксерской груши. Десятки кулаков, мечтавших отредактировать эту физиономию, совершали паломничество, стекаясь к редакции, как к Гробу Господню. Улисс ставил себе в заслугу, что пробуждал в людях чувства; а то, что они находили им дурное применение, – не его вина. Так писал он главный труд человека – книгу жизни своей, книгу жизни Улисса, сына Авраамова.

Проштудировав сей странный манускрипт, Авраам изобличил бездарного мошенника и рассерженно хлопнул ладошкой по столу, имитируя рев пучины, дробящейся об утес. Посторонний человек, наверное, счел бы этот хлопок не соответствующим обстановке. Разбрасываясь заиканиями, бровями и цоканьями языка, наш случайный свидетель всенепременно бы сделал замечание. Человеку, отношения которого с музами носили, скорее, академический характер, процесс хлопанья ладошкой по столу доставляет минимум удовольствия, и он выразил бы свое категорически негативное отношение к данному процессу в принципе. Один хлопок, другой – и что же это получается, по всему городу будут выстраиваться армии желчных критиканов, безнаказанно хлопающих ладошкой по столу и сбивающих тебя с выпретенных сфер? Ну, знаете ли, так дело не пойдет!

Разговор явно принимал горячие формы. Лицо Улисса как-то неестественно перекошило, он почувствовал себя преждевременно обезноженным, о чем не преминул сообщить: «Ты что-то разошелся. У меня слабая иммунная система, проблемы с аминокислотами, дефицит чего-то там, чакры вообще ни к черту... Секундочку, а куда делся мой пульс!..» – провыл Улисс, и в его глазах появился ипохондрический блеск. Он сосредоточенно начал искать у себя сердце, но так и не нашел его.

Отмеченный печатью мысли, Улисс трезвел и предавался черной меланхолии, и мир становился монохромным. В затылке, к которому он относился со старомодной щепетильностью, нещадно саднило и там уже прослеживалась некоторая бугристость молодого лося. Стоя у окна и раздумчиво пересчитывая фотоны, Улисс заприметил свою возлюбленную, которая лобзалась с немолодым, но обстоятельным мужчиной. Веки его затрепыхались, а сам он затрясся, как лось в брачный период, встретивший другого лося. У окна сгустились крупные мужчины и замерли в позе чуткой настороженности. Вряд ли в мире сейчас были люди неподвижнее. Звон свадебных колоколов на мгновение стих. Поглощая кислород кубометрами, глубоко дышал выброшенный к одру страдания человек. Лицо его было отуманено идиотизмом, как будто при рождении его огрели оладушкой. «Suka», – трагически проговорил он,

и что-то сдавило в груди. Он решительно стряхнул глаза с лица. «Твоя? – участливо произнес Авраам, попрекая грешными словами деву, облаченную в белую прозрачную хитону богини. – Существуют люди, лицо которых просит плевка. Давай кинем камнем!» – рыкнул он, обнажая потаенную бешеную страстность. Хотя в неурочный час Улисс был не прочь засадить кирпичом, сейчас он не выказал интереса к этой плебейской выходке. Стремление расстрелять камнями чье-либо благополучие расходилось со стратегией человека, который в камнях кое-что понимал. Блистательный тактик, он болезненно поморщился. Ему не нравилась необдуманная горячность отца и он пресекал смелые попытки сделать тонкий стратегический ход.

Истинно, истинно, есть до того изящные женщины, что им не составит труда ступать по винтовой лестнице. Их принято называть змеями. В их симпатичных личиках есть нечто, побуждающее к насилию, когда мы уличаем их в измене, о которой они не удосуживаются нас известить. С Suka Улисс сошелся в дельте реки Янцзы, что на востоке Китая. Запутавшись в тенетах амурных, он предложил ей руку и сердце за невозможностью дать большее; но и это она приняла не без корысти. Теперь же шальная пава в роскошных одеяниях, отнюдь не выказывая китайской сдержанности, предавались утехам любовного свойства с новым воздыхателем. Последний издавал звуки одурманенного эликсиром любви голубя и сокрушал жгучими поцелуями падшую дочь. Его интересовали ее не человеческие, но чисто механические свойства. Дева, случайно обронившая невинность в эпоху радикализации разврата, заключала его в поистине медвежьей объятия и приятным грудным контраalto закладывала в ушко нежное эхо, которому не найти уподобления в природе: в мерзком неблагозвучии ее голоса не звучало томительных надежд, он походил на проклятия валькирии. Голубые глаза двигались по ее лицу, луковицы волос трепетали. Она смущенно подхихикивала, мерцая слитками 850-й пробы, заполонившими ее рот. Гормоны и эротика витали в воздухе. О, как часто падки мы на великосветских дам с характеристикой суки! Доселе эту благочестивую жену нельзя было заподозрить в каком бы то ни было вольнодумстве, несмотря на безобидную слабость к донжуанским финтами и прочим архаичным признакам маскулинности. Suka немного гэкала, но физиономия утонувшей русалки, при этом интенсивно пахнущей всеми признаками не вполне завершившейся жизни, оттеняла этот незначительный недостаток. Это была объемистая нимфа нескольких веков отроду, которая состояла из косматых ок, волос и чего-то еще. Сваяв это монументальное лицо, родители пристрастились называть ее красоткой, хотя диковинная мордастость не подтверждала рекомендации. Недостаток ангажированности дурно сказался на ее циклопическом облике – на нем усы свидетельствовали свое почтение, а в жаркий день с него слущивались при мытье мертвые ткани; разнообразно испорченный природой, а также собственными опытами иного толка, ее лик тем не менее содержал тонкую пикантность: обилие ломаных линий и резко очерченных граней манило досужих математиков потренировать на нем свой котангенс. Пылкий любовник творил с лицевой стороной Suka невероятные вещи и делал ей бесчестие, его подвижный рот, казалось, не знал покоя. Но если в портрете Suka время оставило легкие потертости, то у ее спутника оно стесало полголовы, и вообще приохотилось давить все, что куда-то на ней задевалось. Надо признать, в это время Купидон свирепствовал: жирный младенец в купальном костюме гарпунировал особо сентиментальное население, и сегодня, хорошенько закатав рукава, наконец взялся за Suka. Препрежнее ее равнодушие к чарам противоположного пола объяснялось не столько верностью Улиссу, хотя, говоря по правде, она не испытывала никакой склонности к нему, сколько нежеланием противоположного пола с ней связываться. Обычно мужчины смотрели на нее остекленевшим взглядом, как рыцарь, который вышел на бой с драконом, но вдруг передумал. И вот в складках судьбы нащупывался энтузиаст, который стрелял обаянием, как из арбалета. Suka скинула панцирь холодной девы и, оголив сердце, возопила: сюда!

«Кариес сердца моего, – причитал Улисс, – вчера ты мне сказала: нам надо поговорить. С дикцией у тебя не очень, твою артикуляцию поймешь, если захочет случай, – но я все понял

по глазам. Жаль терять такую женщину, у нее идеальная для фаты форма головы». Авраам устремил завистливый взгляд на овал ее лица и признал в нем исключительную геометрию, которую не мешало бы отвандальить. Ослабившись нечетным количеством зубов, Suka слегка испортила первое впечатление. А когда стало ясно, что незначительная доработка базовой комплектации не исправит ошибок, допущенных на производстве, нимб над ее головой и вовсе громко треснул. «Она прощалась многозначительной улыбкой; о привычке улыбаться ее лицо не в курсе: из-за того, что у нее косит один глаз, и он смотрит туда, куда ему больше нравится, да и другой не совсем благополучный, и из него вечно что-то сочится, мне иногда казалось, будто она сознательно строит мне рожи; я не в силах забыть эту манящую, соблазнительную линию, оттягивающую щеки к ушам: рта ее касается легкая судорога, и она обретает вид загадочный и оторопелый, как будто ее неудачно подстриг кот. Таких женщин единицы, и я влюбился в нее с первого взгляда всего за неделю. Я говорил ей: дикая бестия, заведи меня в тупик! как жаль, что уши у нее трещат по швам от серы, – и мы не смогли объясниться. Мнилось мне, будто, замурававшись в своем будуаре, она будет исполнять тягостный чин покаяния». – «Возможно, она просто готовится». – «Я ей позвоню», – заключил Улисс голосом, в котором зазвучали интонации Ромео. «Без истерик, – отрезал Авраам, перехватывая телефон. Он ясно давал понять, что намерен срывать наслаждения там, где их найдет. – Отдай эту роль мне, ты не умеешь дисциплинировать свои чувства и в таком состоянии наговоришь лишнего». Его сердце находилось в колебательном состоянии, разгоняя первобытные намерения и тем самым создавая необходимые условия для будущего проявления благих устремлений. Авраам приготавливал рот, когда как в этих казематах сидели отпетые рецидивисты. Он предложил отдаться на попечение чужому остроумию, которое до некоторой степени искупит недостаток ораторских способностей. «Но...» – «Аллоу!» Решив зайти с козырей, Авраам назвал себя иеговистом, отбирающим людей для массового ритуального всеожжения. Придав тем мистический оттенок разговору, этот картограф inferнальных пейзажей окончательно воспарил над меридианами своих фантазий. Он молвил, подобно безумному королю, размахивающему увесистыми интонациями перед своими вассалами; раздражаясь разоблачающими обвинениями, он не забыл никого, оставив даже несколько нелестных слов для собаки, которая случайно проходила мимо со сладострастным выражением лица: ее он наградил особо оскорбительным эпитетом. «Я не понимаю». – Женский голос, очевидно, не выказывал потребности в диалоге. «Ах, она не понимает». Авраам злорадно улыбнулся, и его лицо словно треснуло посередине. В изящных глаголах он ее проклял, обнаружив тем самым свои предосудительные намерения. В рамках того репертуара движений, который был вложен в него яростью, он напутствовал ее отправиться на минеральные воды для лечения от всяческих подергиваний, кои, полагал он, следствие необычайной общительности ее плоти: ему вовсе не хотелось отягощать и без того недобрую славу некоторых ее общедоступных мест, но многие явно заглядывали на этот постоялый двор, страдая суетным любопытством. Вытряхивая на несчастную неоскудевающий запас порицаний и называя ее всякой тварью, которую промысел создал для сравнений, Авраам не имел надежды остановиться. Сосредоточенно выбирая из своего запаса непристойностей ту единственную, которая позволит ему расписаться в своих предпочтениях, он продолжал петь панегирики и деликатно клясть. «Кто говорит?» – «Вижу, вы заинтригованы. А чем вы занимались в ночь на первое мая? Вас ждали, на вас рассчитывали». – «Кому вы звоните?» – «Гниль! Мусор! Пищевое отравление! Карбункулезная бородавка! Перхоть! Грибок стопы Франкенштейна!» – «Да что такое?!» – «Нет, Ахиллеса. Не вешайте трубку, я не закончил, – сказал Авраам и продолжил обрушивать на голову собеседницы каскады эрудиции: – О, клоака порока! Уродливая безволосая мышь! Глупая обезьяна! Исчадие мерзости!» До некоторого времени Улисс оставался безмолвным секундантом, чья выдержка не оставляла надежд на двусмысленность. Он бурно выражал спокойствие со своего возвышенного наместа и неприязненный яд изгонял из пораженных недр своих. Пароксическое трепыхание света появлялось

в стеклянной мгле его глаз, а также на некоторых других участках его увлекательного лица. «Я не знаю, с кем ты там кокетничаешь, – говорил Улисс, безудержно играя бровями и тыкая в плечо Авраама своим восклицательным знаком, – но явно с кем-то другим». Со следами неумеренной злости на лице Улисс ринулся на дипломата. Он схватил Авраама за воротник, слегка подпортив его экстерьер. Из рта его вылетали беспорядочные восклицания. Его надсадные вопли kloкотали горланной угрозой. «С кем ты там болтаешь, старик!» – «...ты меня слышишь, глухая жирн...» – «Это не она, черт тебя дер!» – взвыл Улисс, вступая в царство сердечных приступов. «Вонючий казацкий можжевельник! Половая тряпка... – Насытившись определениями и характеристиками особого достоинства, Авраам наконец услышал мольбы сына: – А впрочем, прошу меня простить, кажется, я ошибся номером». Из чувства деликатности он повесил трубку, пожелав напоследок счастливой жизни, под сим разумея проклятие высшего порядка. Так он возвеличил свой триумф, который справил над силами зла. «Я был истинный феникс галантности, избегая всего непристойного и касаясь лишь самой сути, но она какая-то придурочная». Улисс, на которого столь резкая сентенция произвела не самое благоприятное впечатление, обмяк, проверяя набранный номер. Он тяжело опустился на стул, подвел ладони к лицу и стал умываться слезами, не приличествующими суровому мужчине: горячие капли оросили пол. «Я позвоню еще раз». – «Нет!» – «Не беспокойся, на этот раз я дозвонюсь, куда нужно». – «Именно это меня и беспокоит».

Улисс покинул дом, жадно пожирая пространство и оставляя в земле глубокие борозды. Долгие муки прежних хотений он растворял в нежной лире арфы своей. По ходу своего заграничного вояжа он скрывался в мрачном логе, останавливаясь лишь затем, чтобы войти в преисподние внутренности земли и явить жизни свободу. Он шел туда, куда вела его Suka, где была лишь тьма над бездною, беспорядок и разрушение, где над болотами тишины и покоя, в начале творения видимых вещей, еще курился синий туман и, подобно таинственной незнакомке, выстилал подол подвенечного платья; а высоко над ним сияли звезды, и исчезали на его глазах; в черном сундуке Вселенной они лишь прятали остатки рая на земле; но поднял Улисс глаза – и где они?..

Авраам приник к подоконнику, повиснув на нем, как мокрый носок, и тусклый багрянец разливался по его скульптурным ушам. В таком положении он провел часы тяжелых раздумий. Ему начинало казаться, что все сон, и будто личность его раздвоена и совершенно от оболочки обособлена; казалось, что-то постороннее, чужое надвигается на него, овладевает им, – нечто злобное, не свойственное его натуре: злоба исходила от тела, и он был вне тела, со стороны распорядился им. Он брал руку, дотрагивался до тела, как будто чужого, но не своего тела, будто это была чужая рука, а не он дотрагивался; и казалось, что вот он уже удаляется из своего тела, уже совсем бросил его; все думает и чувствует не так, как дотеле, а иначе. А если он не существует теперь, то что он такое на самом деле? Может, это неправда, что он живет; вот он умер, но от него это скрывают, в миру он совершенно один; ему мучительно, что он ничего не может понять, и никогда не сможет; небо, деревья – все это красиво, но холодно; и он не может достичь никого из людей, и если будет говорить, то они ничего не поймут, – и так он погибнет; кругом не люди, а только притворятся все, что люди, не по-настоящему живые, а лишь скопление безумий, постулированных в космосе, – все делается бессмысленно, пустынно, и слова их – оболочка без всякого содержания: они воссоздают слова из мертвых снов, отражая бытийные смыслы, – это просто звуки; все, что ни говорят, становится одними звуками; им трудно с ним говорить, трудно сдерживаться от хохота, что обманывают его; но однажды он узнает, что от него скрывают, – и будет хохот злым. Он хотел, чтобы забрали его всего, целиком, чтобы забрали его руки, ноги, голову – чтобы ничего не забыли. Это было приятно: он старался долго-долго думать, чтобы стало приятно и жутко; но не додумывал до конца. А однажды додумался до конца – и сделалось страшно.

Жизнь – мираж, и все пустота; окостеневшие звезды погребены в некрополях вакуума; мыслетечения трупа бесследно рассеяны в непостижимом присутствии вечности. Чья насмешка сны мои?.. Я пробуждаюсь, словно выбрасываюсь в действительность; я лишь мертвое эхо вечности, и мое молчание – уста смерти: зачем я здесь? Страсти молчат в моем сердце, и в тишине становится различим Бог; в Нем мой свет, в безмолвии – спасение мое. Он называет мое имя, наполняя его неиссякаемой жизнью, и я просыпаюсь из безразумного автоматического бытия к вечной осознанности. Зачем просыпаюсь я на зов Твой, Господи? сотканный из чрева тишины, просыпаюсь в безмерной колыбели небес, которую качают бесы; приоткрываемая воздушный балдахин, они хотят впустить в меня зверя из бездны и уронить в его тьму. Теперь я нечто живое, обремененное трупом. Я открываю глаза немного раньше, чем положено. Должно быть, виной тому мои родители. Думаю, еще в мамином животике сильно хотелось мне повидать свет Божий, – и то, что я всегда тянусь к свету, сделалось моим привычным чувством на все мои дни. Я запрыгиваю к окну в радостном ожидании чего-то... тихий свет обвивает вокруг сердца, как запястье: сердце переворачивается с боку на бок, приказывая воспоминаниям воспрянуть: пока еще не прорываясь окончательно, они только капают, как слезы: кап... кап... кап... Мне хорошо и покойно. Я чувствую, что не один: есть что-то другое... непознаваемое. Душа изныла – я так ждал этого дня, он будто весь из восторгов. Кажется мне, что я совсем-совсем старый, мудрый дедушка, только маленький такой, как комарик. В голом отражении рисуются черные мои бровки. Ну, малыш, не прячь своих глаз: всегда лучистые, радостные твои глаза еще не поуглубились, грустью не сделались. Смотрю на тебя, малыш, сквозь старые иконы, потерянно-тихо смотрю, хочу лаской сказать: в скупых наших окошках порой нерадостное глядится – появляются чистые твои глаза... и текут... текут... Завечеревшая птица моей руки повела крылом по блаженному детскому лицу. Ты еще не знаешь, кто такой блаженный, – а сейчас ты именно такой. Сколько лет минуло с того дня, столько пожито, выстрадано!.. кожа моя стала толще панциря, и не проникает сквозь нее тот чудесный свет радостного детства. Отчего ты приходишь ко мне, малыш?.. светлы мои ясные, зачем потускнели вы? Гляжу на тебя в немой радости... слезы у меня на глазах. Такой хороший день сегодня! Такой великий праздник... – я родился.

Перелистывая страницы прожитых лет, сердце мое болезненно стеснилось в груди: добрая грусть накатила, тенью глаза покрыла. Блаженно улыбается изборожденное морщинами, измученное лицо, – смейся, малыш, это наше сердце щекочет всевеликий Господь, ты за лицом не следи! Гляди на качели: все в ушибах, ссадинах; на озорную беседку в «кепке» набекрень... – листай страницы не спеша: с альбома машут тебе полинялыми платками – узнаешь тепло в глазах? В каком ином краю это было?.. Стукает ли еще лестница чугунная, того самого угла нашего домишки в два этажа?.. – по ветру носится. Пустая беседка. Хромые лавочки. Фонарь понурил голову – устал. Выплывают подъезды угрюмые мордочки, похожие на мокрых злых кошек. Мир оцифрован, и оцифрована наша душа. Дом стоит – Кощей Бессмертный; но сегодня и он умирает, и царит тут странная запустелость. Он удивленно моргает драной тряпкой, налипшей на червоточине окна, и будто спрашивает весь мир: когда же все это кончится?! в загогулинах нашей памяти, в этих поблекших взглядах стоят и стоят сумрачные портреты милых сердцу людей; молчит мир, молчат вымыслы его. Скоро и мне молчать. На дворе – тихое журчание: это жаворонок. Зачем ты возвращаешься на наши могилы, одинокий пастух? Разрушен дом – и ты разрушен, и все родные голоса. Возвращаешься туда, где все знакомо, где мама молодая... и отец живой; где живые трели детских смехов; где милый двор вне времени, земля твоя родная: комнаты, дышащие убожеством и скудостью, – святой уголок сердца твоего; где скорби и любовь еще не ушли, не исчезли; где еще звучат голоса летнего дня... – не потерять бы всех теплых дней в судьбе! Веселый мальчик, ребенок света, точная наука сейчас в твоих руках – это память. Слушай ее, как музыку, – с закрытыми глазами. Бог гладит душу твою теплой рукавичкой воспоминаний. Мистерии земли объединяются с небесами; близкие,

ушедшие в вечность, снова проходят с тобою рядом, слившись в алом мерцании утренней зари. Крикнешь им в синие дали: «Робята! Да будет свет!» – и станет свет. Прости обиды, цветы принеси. И плачь, малыш... горько плачь, пока есть слезы, – тогда ты снова эпицентр мира, ты снова – человек!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.